Уолтеру И. Брэдбери,
Не дядюшке, не кузену,
А самым решительным образом —
Редактору и другу!

По эту сторону Византии

Вступительное слово

Эта книга, как и большинство моих книг и рассказов, возникла нечаянно. Я, слава богу, начал постигать природу таких внезапностей, будучи еще весьма молодым писателем. А до того, как и всякий начинающий, я думал, что идею можно принудить к существованию только битьем, мытьем и катаньем. Конечно, от такого обращения любая уважающая себя идея подожмет лапы, откинется на спину, уставится в бесконечность и околеет.

Можно сказать, мне повезло: в двадцать с небольшим лет я увлекался словесными ассоциациями: просыпаясь поутру, шествовал к своему столу и записывал любые приходящие на ум слова или словесные ряды.

Затем я во всеоружии обрушивался на слово или вставал на его защиту, призывая ватагу персонажей взвесить это слово и показать мне его значение в моей жизни. Через час или два, к моему удивлению, возникал новый, законченный рассказ. Совершенно неожиданно и так восхитительно! Вскоре я обнаружил, что подобным образом мне суждено работать всю оставшуюся жизнь.

Поначалу я перебирал в памяти слова, которые описывали мои ночные кошмары и страхи моего детства, и лепил из них рассказы.

Потом я пристально посмотрел на зеленые яблони и старый дом, в котором родился, и на дом по соседству, где жили мои бабушка и дедушка, на лужайки летней поры — места, где я рос, и начал подбирать к ним слова.

В этой книге, стало быть, собраны одуванчики из всех тех лет. Метафора вина, многократно возникающая на этих страницах, на удивление уместна. Всю свою жизнь я копил впечатления, запрятывал их куда-нибудь подальше и забывал. При помощи слов-катализаторов мне предстояло каким-то образом вернуться и распечатать воспоминания. Что-то в них будет?

С двадцати четырех до тридцати шести лет дня не проходило, чтобы я не отправлялся на прогулку по своим воспоминаниям среди дедовских трав северного Иллинойса, надеясь набрести на старый недогоревший фейерверк, ржавую игрушку, обрывок письма из детства самому себе, повзрослевшему, чтобы напомнить о прошлом, о жизни, о родне, о радостях и омытых слезами горестях.

Это занятие превратилось в игру, в которую я ушел с головой, — интересно, что мне запомнилось про одуванчики или про сбор дикого винограда в компании папы и брата. Я мысленно возвращался к бочке с дождевой водой — рассаднику комарья под боковым окном, выискивал ароматы

золотистых мохнатых пчел, висевших над виноградной оранжереей у заднего крыльца. Пчелы, знаете ли, благоухают, а если нет, то должны, ибо их лапки припорошены пряностями с миллионов цветов.

В более зрелые годы мне захотелось вспомнить, как выглядел овраг, особенно тогда, когда поздними вечерами я возвращался домой с другого конца города, после сеанса «Призрака Оперы» с живописными ужасами Лона Чейни, а мой брат Скип забегал вперед и прятался под мостом через ручей, откуда, подобно Неприкаянному, выпрыгивал вдруг, чтобы меня сграбастать, а я с истошными воплями улепетывал, спотыкался, снова бежал и верещал всю дорогу до самого дома. Бесподобно!

Играя в словесные ассоциации, я попутно встречался и сталкивался с истинной и старинной дружбой. Из своего детства в Аризоне я позаимствовал для этой книги своего товарища Джона Хаффа и перенес его на восток, в Гринтаун, чтобы попрощаться с ним как подобает.

Попутно я садился завтракать, обедать и ужинать с давно почившими и обожаемыми мною людьми. Ведь я на самом деле любил своих родителей, дедушку-бабушку и брата, несмотря на то что тот, бывало, мог меня, что называется, «подставить».

Я то оказывался в погребе, работая с отцом на винном прессе, то на веранде в ночь Дня Незави-

симости, помогая своему дядюшке Биону заряжать его самодельную медную пушку и палить из нее.

Вот тут-то я и столкнулся с неожиданностью. Конечно, никто не велел мне быть застигнутым врасплох, мог бы я добавить от себя. Сам виноват. Я набрел на старые и лучшие способы сочинительства благодаря своему неведению и экспериментаторству и вздрагивал каждый раз, когда истины выпархивали из кустарника, как перепелки, чуя выстрел. Как ребенок, который учится ходить и видеть, я шел к вершинам писательского мастерства наобум. Научился позволять своим чувствам и Прошлому рассказывать мне все, что было истинным.

Так я превратился в мальчика, бегущего с ковшом за чистой дождевой водой, зачерпнутой из бочки на углу дома. И, разумеется, чем больше воды вычерпываешь, тем больше ее заливается. Поток никогда не иссякал. Как только я научился снова и снова возвращаться в те далекие времена, у меня возникло множество воспоминаний и чувственных ощущений, которые можно было обыгрывать, не обрабатывать, а именно обыгрывать. Грош цена «Вину из одуванчиков», если оно не есть спрятавшийся в мужчине мальчишка, играющий в божьих полях на зеленой августовской траве, в пору своего взросления, старения и ощущения тьмы, поджидающей под деревьями, чтобы посеять кровь.

Меня позабавил и несколько озадачил некий литературный критик, написавший несколько лет назад аналитическую рецензию на «Вино из одуванчиков» и более реалистичные произведения Синклера Льюиса, в которой он недоумевает: как это я, родившийся и выросший в Уокигане, переименованном мною в Гринтаун для моего романа, не заметил в нем уродливой гавани, а на его окраине удручающего угольного порта и железнодорожного депо.

Ну конечно же, я их заметил и, будучи прирожденным чародеем, был пленен их красотой. Разве могут быть в глазах ребенка уродливыми поезда и товарные вагоны, запах угля и огонь? С уродливостью мы сталкиваемся в более позднюю пору и начинаем всячески ее избегать. Считать товарные вагоны — первейшее занятие для мальчишек. Это взрослые бесятся и улюлюкают при виде поезда, который преграждает им дорогу, а мальчишки восторженно считают прикатившие издалека вагоны и выкликают их названия.

К тому же именно сюда, в это самое, якобы уродливое, депо прибывали аттракционы и цирки со слонами, которые в пять утра в темноте поливали могучими едкими струями мостовые.

А что до угля из порта, то каждую осень я спускался в подвал в ожидании грузовика с железным желобом, по которому с лязгом съезжала тонна красивейших метеоров, падающих в мой под-

вал из глубокого космоса, угрожая похоронить меня под грудой черных сокровищ.

Иными словами, если ваш сынишка — поэт, то для него лошадиный навоз — это цветы, чем, впрочем, лошадиный навоз всегда и является.

Пожалуй, новое стихотворение лучше, чем сие предисловие, объяснит, как из всех месяцев Лета моей жизни проросла эта книга.

Вот как оно начинается:

Не из Византии я родом,
А из иного времени и места,
Где жил простой народ,
Испытанный и верный.
Мальчишкой рос я в Иллинойсе.
А именно в Уокигане,
Название которого
Непривлекательно и
Благозвучием не блещет.
Оттуда родом я, друзья мои,
А не из Византии.

Стихотворение продолжается описанием моей привязанности к родным местам длиною в жизнь:

В своих воспоминаниях,
Издалека, с верхушки дерева,
Я вижу землю, лучезарную,
Любимую и голубую,
Такую и Уильям Батлер Йейтс
Признал бы за свою.

Уокиган, в котором я частенько бываю, не лучше и не уютнее любого другого среднезападного

американского городишки. Он почти утопает в зелени. Кроны деревьев смыкаются над серединой улицы. Дорога перед моим старым домом все еще вымощена красным кирпичом. Так что же особенного в этом городе? Да то, что я там родился. Он стал моей жизнью. Я должен был написать о нем как подобает:

Среди мифических героев мы росли
И ложкою хлеб Иллинойса намазывали
Светлым джемом — божественною
Пищей, чтобы его разбавить
Арахисовым маслом
Цвета бедер Афродиты...
А на веранде — спокойный и
Решительный — мой дед,
Ходячая легенда,
Достойный ученик Платона,
Его слова — чистейшая премудрость,
И светлым золотом искрится взгляд.
А бабушка тем временем
«Разодранный рукав печали»[1]
Чинит и вышивает холодные
Снежинки редкой красоты и
Блеска, чтобы припорошить
Нас летней ночью.
Дядья-курильщики
Глубокомысленно шутили,
А ясновидящие тетушки
(Под стать дельфийским девам)
Летними ночами

[1] *У. Шекспир.* «Макбет», акт 2, сцена II. (*Здесь и далее прим. перев.*)

Всем мальчикам,
Коленопреклоненным,
Как служки в портиках античных,
Пророческий разлили лимонад;
Потом шли почивать
И каяться за прегрешения невинных;
У них в ушах грехи,
Как комарье, зудели
Ночами и годами напролет.
Нам подавай не Иллинойс, не Уокиган,
А радостные небеса и солнце.
Хоть судьбы наши заурядны,
И мэр наш далеко умом не блещет,
Подобно Йейтсу.
Мы знаем, кто мы есть. В итоге что?
Византия.
Византия.

Уокиган/Гринтаун/Византия.

Так, значит, Гринтаун существовал?

Да, и еще раз да! А существовал ли на самом деле мальчишка по имени Джон Хафф?

На самом деле существовал. И это его настоящее имя. Не он меня покинул, а я. Эта история со счастливым концом. Он жив и поныне, сорок два года спустя. И помнит нашу любовь.

И Неприкаянный существовал?

Да. Так его и звали. Когда мне было шесть лет, он рыскал ночами по нашему городу, наводя на всех ужас. Его так и не поймали.

И самое важное: существовал ли на самом деле большой дом дедушки и бабушки, населенный

постояльцами, дядюшками и тетушками? На этот вопрос я уже ответил.

А овраг всамделишный, глубокий и черный в ночную пору? Он был и остается таким. Несколько лет назад я с опаской водил туда своих дочерей, думая, что с годами овраг мог обмелеть. Я с превеликим облегчением и удовольствием могу заверить вас, что овраг стал еще глубже, темнее и таинственнее прежнего. Даже теперь я бы не посмел возвращаться через него домой после просмотра «Призрака Оперы».

Итак, Уокиган был Гринтауном, а тот — Византией, со всем счастьем, которое под ним подразумевалось, и со всей грустью, которая звучит в этих именах. Люди в нем были богами и лилипутами и знали, что они смертны, поэтому лилипуты ходили, гордо вытянувшись вверх, чтобы не смущать богов, а боги скрючивались, чтобы коротышки чувствовали себя в своей тарелке. В конце концов, не в этом ли заключается наша жизнь — в способности ставить *себя* на место других людей и смотреть их глазами на пресловутые чудеса и говорить: «А, так вот как вы это видите. Теперь я запомню».

Итак, я чествую смерть и жизнь, тьму и свет, старое и молодое, смышленое и глупое, вместе взятые, чистый восторг и полный ужас, написанный мальчишкой, который некогда висел вверх тормашками на деревьях, напяливал на себя костюм летучей мыши с сахарными клыка-

ми и, наконец, свалился с дерева, когда ему минуло двенадцать, пошел и набрел на игрушечную пишущую машинку и напечатал свой первый «роман».

А вот еще одно воспоминание напоследок.

Огненные шары.

В наши дни их редко встретишь, хотя в некоторых странах, как я слышал, их еще делают и наполняют теплым дыханием подвешенной снизу жженой соломки.

Но в Иллинойсе в тысяча девятьсот двадцать пятом году они у нас еще были. И одним из последних воспоминаний о моем дедушке будет это — последний час ночи на Четвертое июля, сорок восемь лет назад, когда деда и я вышли на лужайку, и развели костерок, и наполнили красно-бело-синий в полосочку грушевидный бумажный шар горячим воздухом, и держали в руках яркого потрескивающего ангела в эту прощальную минуту перед крыльцом, на котором выстроились дядюшки и тетушки, кузены, мамаши и папаши, а потом очень бережно выпустили из наших пальцев в летний воздух над засыпающими домами среди звезд все, что было нашей жизнью, светом, таинством — хрупким и непостижимым, ранимым и прекрасным, как само бытие.

Я вижу, как дедушка, погруженный в свои раздумья, провожает взглядом парящий свет. Вижу себя: глаза на мокром месте, потому что все за-

кончилось, ночь прошла. Я понимал, что другой такой ночи никогда уже не будет.

Никто ничего не сказал. Мы просто смотрели вверх на небо, вдыхали и выдыхали и думали об одном и том же. Но никто ничего не сказал. Хотя кто-то, в конце концов, должен был что-то сказать. И вот этим *кем-то* оказался я.

Вино по-прежнему дожидается в недрах погреба.

Моя возлюбленная семья все еще сидит в темноте веранды.

Огненный шар все еще плывет, маячит и пламенеет в ночном небе еще не погребенного лета.

Как и почему?

Да потому что я так сказал.

Рэй Брэдбери,
лето 1974 года

I

Безмятежное утро. Город, укутанный во тьму, нежится в постели. Погода насыщена летом. Дуновение ветра — блаженство. Теплое дыхание мира — ровно и размеренно. Встань, выгляни из окна, и тебя мгновенно осенит — вот же он, первый миг всамделишной свободы и жизни, первое летнее утро.

В сей предрассветный час на третьем этаже в спаленке под стрельчатым потолком только что проснулся Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, и доверчиво пустился в плавание по лету. Его окрыляла высота самой внушительной башни в городе, что позволяла ему реять на июньских ветрах. По ночам, когда кроны деревьев волнами накатывали друг на друга, он метал свой взор, словно луч маяка, во все стороны поверх буйного моря ясеня, дуба и клена. Но сейчас...

— Ух ты, — прошептал Дуглас.

Впереди целое лето, день за днем, предстояло вычеркнуть из календаря. Он представил, что его руки, как у богини Шивы из путеводителя, мечутся во все стороны, обрывая кисленькие яблочки,

персики и черные сливы. Он облачится в листву деревьев и кустарников, окунется в речные воды. Он не без удовольствия будет примерзать к заиндевелым дверцам ледника. Он будет радостно поджариваться на бабушкиной кухне за компанию с целым десятком тыщ курочек.

Но сейчас ему предстояла привычная задача.

Раз в неделю ему разрешалось оставить на одну ночь папу, маму и младшего братишку Тома в домике по соседству и прибежать сюда, взлететь по мрачной винтовой лестнице под бабушкин-дедушкин купол, укладываясь спать в этой колдовской башне, среди раскатов грома и призраков, чтобы пробудиться до хрустального перезвона молочных бутылей и сотворить свой чародейский обряд.

Он встал во тьме перед распахнутым окном, сделал глубокий вдох и выдохнул.

Тут же погасли уличные фонари, словно свечки на черном пироге. Он выдыхал снова и снова — стали исчезать звезды.

Дуглас улыбался, указуя пальчиком.

Туда и туда. Теперь — сюда и сюда...

На сумрачной предутренней земле прорезывались желтые квадратики. Вдруг в предрассветном далеке зажглась россыпь окон.

— Все зевнули. Хором! И встали.

Большой дом под его ногами пришел в движение.

— Деда, вылавливай зубы из стакана! — Он

выдержал должную паузу. — Бабуля, прабабушка, принимайтесь печь горячие блинчики!

Сквозняк разнес теплое благоухание текучей блинной массы по коридорам, дразня ароматом постояльцев, тетушек, дядюшек и кузенов в гостевых опочивальнях.

— Улица Всех-Превсех Стариков и Старушек, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Ну-ка, прокашлялись! Встали с постели! Приняли пилюли! И — ходу! Мистер Джонас, запрягайте свою лошадку, выкатывайте свой фургон с добром!

Неприветливые дома по ту сторону оврага приоткрыли недобрые драконьи глазищи. Вскоре вниз по утренним улицам две пожилые дамы покатят на своей электрической Зеленой Машине, приветствуя всех собачек.

— Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!

И вот уже, рассыпая раскаленные голубые искры, городской трамвай плывет по руслу мощенных кирпичом улиц.

— Джон Хафф? Чарли Вудмен? Готовы? — прошептал Дуглас Детской улице. — Готовы? — раскисшим лужайкам, чью росу впитали бейсбольные мячики, словно губки, пустым веревочным качелям на ветвях деревьев.

— Мама, папа, Том, просыпайтесь!

Будильники ласково затренькали. Часы на здании суда гулко загудели. Птицы вспорхнули с деревьев, как сеть, закинутая его рукой, рассыпая

свои трели. Дуглас — дирижер оркестра простер руку к небу на востоке.

И Солнце начало восходить.

Он сложил руки на груди и расплылся в улыбке настоящего волшебника.

«Вот так-то, — подумал он, — стоит мне только повелеть, как все срываются с места и бегут! Лето выдастся на славу». И напоследок он одарил город щелчком пальцев.

Двери домов распахнулись настежь — из них вышли люди.

Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось!

II[1]

В то утро, пробегая по лужайке, Дуглас Сполдинг разорвал паутинку. Одна-единственная, невидимая, протянутая по воздуху струнка коснулась его лба и беззвучно лопнула.

Уже это незначительное событие подсказало ему, что денек предстоит особенный. Потому что, как сказал ему в автомобиле папа, увозя его вместе с десятилетним Томом за город, бывают дни, состоящие исключительно из запахов: вдыхаешь весь мир в одну ноздрю, а выдыхаешь в другую.

---

[1] Рассказ Р. Брэдбери «Озарение» («Illumination», Reporter, May 16, 1957). Здесь и далее указываются опубликованные произведения, которые впоследствии стали главами настоящей книги.

А бывают дни, продолжил он, обращенные в слух, когда улавливаешь любой шум и шорох во Вселенной. Бывают дни, пригодные для дегустации, и дни, благоприятные для осязания. А некоторые — для всех органов чувств сразу. А сегодняшний день, добавил он, благоухает, как большой безымянный сад, выросший ночью за горами и наполнивший землю, насколько хватает взгляд, теплой свежестью. В воздухе пахло дождем, но не было туч. В роще мог бы раздаться чей-то смешок, но царило молчание...

Дуглас следил за убегающей землей. Он не чуял ни садов, ни дождя, ибо какие могут быть запахи без яблонь и облаков? А тот смешок в чаще леса?

Но факт оставался фактом — Дуглас поежился, — этот день, без видимой причины, стал особенным.

Автомобиль остановился в самой гуще притихшего леса.

— А ну-ка, мальчики, полегче там.

Они пихали друг друга локтями.

— Слушаемся, сэр.

Они вылезли из машины, прихватив синие жестяные ведра, навстречу запаху только прошедшего дождя, подальше от скучной грунтовой дороги.

— Ищите пчел, — велел папа. — Пчелы вьются вокруг винограда, как мальчишки у кухни, правда, Дуг?

Дуглас вскинул глаза.

— Где ты витаешь? — поинтересовался папа. — Больше жизни! Иди с нами в ногу.

— Слушаюсь, сэр.

Они углубились в лес. Впереди — долговязый отец, в его тени — Дуглас, а низкий Том семенил в тени брата. Они подошли ко взгорку и огляделись по сторонам.

— Вот! И вот! Видно? — вопрошал отец. — Здесь обитают мирные летние ветры и уходят в зеленые дебри, незримые, как призрачные киты.

Дуглас быстро осмотрелся, ничего не заметив, и решил, что это очередной папин розыгрыш, который, под стать дедушке, обожал розыгрыши. Но... но все равно, Дуглас замер и прислушался.

«Да, что-то должно случиться, — подумал он, — я знаю!»

— Вот папоротник венерин волос. — Папа шагал, сжимая дужку ведра, которое раскачивалось, как колокол. — Чуете? — Он взрыхлил почву носком ботинка. — Целый миллион лет копились палые листья для этой роскошной жирной лесной подстилки. Подумай, сколько понадобилось листопадов, чтобы она образовалась!

— Ух ты, — изумился Том, — я ступаю бесшумно, как индеец!

Дуглас впечатал ступню в суглинок, но глубины не ощутил, а только насторожился.

«Нас окружили, — промелькнуло у него в голове. — Значит, что-то должно случиться! Но что

именно?» Он замер. «Выходите! Эй, где вы там?! Кто бы вы ни были!» — беззвучно кричал он.

Впереди Том с папой неспешно прогуливались по притихшей земле.

— Тончайшие кружева, — негромко проговорил папа.

И он вскинул руки к деревьям, показывая, как это кружево было сплетено по небу или как небо было вплетено между ветвей деревьев. Сразу не разберешь.

— Но вот же оно, — улыбнулся он, и голубоезеленое плетение продолжалось. — Если приглядеться, то увидишь, как лес трудится на гудящем ткацком станке. — Папа удобно устроился и разглагольствовал о том о сем. Слова непринужденно слетали с его уст. Его речь потекла еще свободнее, поскольку он все время подтрунивал над собственными словами. Ему нравится слушать тишину, говорил он, если к ней вообще возможно прислушиваться, ведь, продолжал он, в этой тишине можно услышать, как осыпается пыльца в воздухе, разогретом пчелиным гудением. Именно! Разогретом пчелами! Прислушайтесь к водопаду птичьих рулад, там, за деревьями!

«Вот, — думал Дуглас, — вот оно, приближается! Бежит! Я его не вижу! А оно бежит прямо на меня!»

— Лисий виноград! — воскликнул папа. — Вот так удача! Вы только гляньте!

Нет! У Дугласа аж дух перехватило.

Но Том с папой присели, чтобы запустить свои руки в глубь хрустящей лозы. Чары развеялись. Страшный рыскатель, бесподобный бегатель, скакатель-прыгатель и хвататель душ — улетучился, испарился.

Дуглас, опустошенный и удрученный, пал на колени. Его пальцы погрузились в зеленую тень и вышли окрашенными в такой цвет, словно он пронзил лес ножом и сунул руку в открытую рану.

* * *

— Перерыв на обед, мальчики!

Набрав по полведра лисьего винограда и лесной земляники, преследуемые пчелами, которые олицетворяли, по словам папы, ни больше ни меньше гудящую что-то себе под нос Вселенную, они уселись на изумрудно-замшелое бревно, перемалывая сэндвичи и пытаясь слушать лес, как это умел папа. Дуглас чувствовал на себе папин взгляд и молча этим забавлялся. Папа начал было говорить о том, что пришло ему в голову, но потом, откусив от сэндвича, стал рассуждать:

— Сэндвич на природе — не просто сэндвич. Замечали? Здесь он на вкус не такой, как дома, а пикантнее. С привкусом мяты или хвои... Воздух творит чудеса — аппетит зверский!

Дуглас недоверчиво полизал хлеб с поперченной ветчиной. Да нет вроде... Сэндвич как сэндвич.

Том жевал, кивая в знак согласия:

— Уж я-то тебя понимаю, папа!

«Еще чуть-чуть, и это свершилось бы, — думал Дуглас. — Что бы это ни было, оно было Большое, ой, до чего же Большое! Что-то спугнуло его. Где-то оно теперь? Вернулось в заросли! Нет, у меня за спиной! Нет, оно здесь... почти что здесь...» Он исподволь поглаживал себя по живот*у*.

«Если я подожду, оно вернется. Оно не причинит мне вреда. Я знаю, оно здесь не для этого. Тогда для чего же? Для чего? Для чего?»

— Знаешь, сколько раз мы сыграли в бейсбол в этом году? А в прошлом? А в позапрошлом? — заговорил вдруг Том ни с того ни с сего.

Дуглас посмотрел, как Том быстро-быстро шевелит губами.

— У меня записано! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я почистил зубы за десять лет? Шесть тысяч раз! Сколько раз помыл руки? Пятнадцать тысяч раз. Сколько раз лег спать? Четыре тысячи с лишним раз, не считая послеобеденного сна. Съел шестьсот персиков. Восемьсот яблок. Груш — двести. Я до груш не очень охоч. Назови что хочешь — у меня вся статистика! Мильярд мильонов дел переделал. Сложено-помножено на десять лет.

«А теперь, — думал Дуглас, — оно опять приближается. Зачем? Потому что Том заговорил? Но почему Том? Том знай себе лопочет. Полон рот сэндвича». Папа — настороженный, как рысь, —

на бревне, а изо рта у Тома слова вылетали, как стремительные пузырьки из газировки:

— Прочитал четыреста книг. Утренние сеансы: с участием Бака Джонса — сорок фильмов, с Джеком Хокси — тридцать, с Томом Миксом — сорок пять, с Хутом Гибсоном — тридцать девять. Сто девяносто два раза ходил на мультики про кота Феликса. Десять раз смотрел фильмы с Дугласом Фербенксом. Восемь раз видел Лона Чейни в «Призраке Оперы». Четыре раза — Милтона Силлса. И один раз кино с Адольфом Менжу про любовь: пришлось проторчать девяносто часов в туалете, пока вся эта ерунда не кончилась и не начались «Кот и канарейка» или «Летучая мышь», и все вцепились друг в друга и вопили два часа кряду, не выпуская. За это время я съел четыреста леденцов на палочке, триста шоколадных батончиков «Тутси роллс», семьсот рожков с мороженым...

Том неторопливо разглагольствовал еще минут пять, пока папа не поинтересовался у него:

— Сколько ягод ты успел нарвать, Том?

— Двести пятьдесят шесть — ровно! — последовал немедленный ответ.

Папа рассмеялся, и обед подошел к концу. Они снова ушли в зеленые тени на поиски винограда и крошечных земляничек. Все трое наклонились, их руки сновали туда-сюда. Ведра тяжелели. Затаив дыхание, Дуглас думал: «Да, да. Оно опять приблизилось! Почти дышит мне в затылок! Не смотри! Работай. Рви ягоды. Насыпай в ведро.

Поднимешь глаза — отпугнешь. Не упусти его на этот раз! Но как бы так извернуться, чтобы посмотреть ему прямо в глаза? Как? Как?»

— А у меня снежинка есть в спичечном коробке, — сказал Том, разглядывая с улыбкой перчатку из винного сока у себя на руке.

«Замолчи!» — чуть было не вскричал Дуглас. Но нет, крик растревожил бы эхо, и Существо сбежало бы!

А, постой-ка... Том говорил, а оно, такое большое-пребольшое Существо, подкрадывалось все ближе. Оно не боялось Тома. Он приманивал Существо своим дыханием. Они с Томом заодно!

— В прошлом году, в феврале, — сказал Том, усмехаясь, — во время метели я поднял коробок вверх и поймал снежинку. Запер — и бегом домой, в ледник ее!

Близко, Оно совсем близко. Дуглас уставился на мельтешащие губы Тома. Ему захотелось вскочить, ибо он чуял, как за лесом вздымается исполинская приливная волна. Еще мгновение — и она обрушится на них и раздавит навсегда...

— Вот так-то, — размышлял Том, увлеченно собирая виноград. — Во всем Иллинойсе только у меня есть снежинка посреди лета. Дороже алмазов, как пить дать! Завтра я ее достану, Дуг, чтобы ты тоже ее увидел...

В какой-нибудь другой день Дуглас фыркнул бы, отмахнулся, запротестовал. Но сейчас, когда великанское Существо неслось на них, низверга-

ясь с небес, он мог только, прикрыв веки, кивнуть.

Том перестал рвать ягоды, обернулся, заинтригованно уставившись на братца.

Выгнутая спина Дугласа — законная добыча! Том вскочил, заверещал — и как сиганет на него! Они повалились наземь, схлестнулись и покатились кубарем.

Нет! Дуглас приказал себе ни о чем другом не думать. Нельзя! А потом вдруг... Можно. Почему нет? Да! Потасовка, соударение тел, падение на землю не отпугнуло нахлынувшее море, которое все затопило и вынесло их на травянистый берег в чащу леса. Костяшки пальцев стукнули его по зубам, он ощутил во рту ржавый теплый привкус крови. Он крепко-накрепко сграбастал Тома, и они лежали в тишине. Сердечки колотились, ноздри сопели. И наконец, медленно, опасаясь, что ничего не обнаружится, Дуглас приоткрыл один глаз.

И все, все-превсе оказалось на своем месте.

Подобно огромной радужке гигантского глаза, который тоже только что раскрылся и раздался вширь, чтобы вобрать в себя все на свете, на него уставилась Вселенная.

И он понял: то, что нахлынуло на него, останется с ним навсегда и никуда больше не сбежит.

«Я — живу», — подумал он.

Его пальцы в яркой крови дрожали, как лоскуты диковинного флага, только что обретенного, но доселе невиданного, и он недоумевал, какой

стране и какую клятву верности он должен принести. Удерживая Тома, но не осознавая, что это он, Дуглас потрогал свободной рукой кровь, словно надеялся ее сколупнуть, поднял руку и перевернулся. Затем выпустил Тома и лежал на спине с воздетой к небу рукой, а сам стал головой, откуда его глаза, как стражи сказочного замка, таращились сквозь опускную решетку на подъемный мост — его плечо, и пальцы — кровавый пунцовый стяг, колыхались, пронизанные светом.

— Что с тобой, Дуг? — спросил Том.

Его гулкий, потусторонний голос доносился из воды, со дна зеленого замшелого колодца.

Под ним шепталась трава. Он опустил руку, чувствуя, как ее обволакивает онемелость. А далеко внизу поскрипывали в туфлях пальцы ног. В раковинах ушей вздыхал ветер. Перед его стеклянистыми глазными яблоками промелькнула, сверкая картинками, как в искристом хрустальном шаре, вся Вселенная. Рассеянные по лесу цветы заменяли солнце и огненные точки на небе. Птицы промелькнули камнями, запущенными в необъятный свод небес, как в перевернутый вверх дном пруд. Он цедил сквозь зубы воздух, вдыхая лед и выдыхая пламя. Насекомые рассекали воздух с электрической резкостью. Десятки тысяч волосков на его голове отросли на одну миллионную долю дюйма. Он слышал, как два сердца бьются в его ушах, а третье — в горле. Два сердца пульси-

руют в запястьях, а настоящее стучит в груди. В его теле раскрывались мириады пор.

— Я на самом деле живу. Я никогда раньше этого не осознавал, а если осознавал, то не запомнил!

Он закричал что есть мочи, но про себя, раз десять! Подумать только, подумать только! Двенадцать лет прожить — и вот только сейчас обнаружить редкий хронометр, золотые часы, с гарантией на семьдесят лет, забытые под деревом и найденные во время потасовки.

— Что с тобой, Дуг?

Дуглас завопил, сграбастал Тома в охапку, и они покатились по земле.

— Ты что, сбрендил, Дуг?

— Сбрендил!

Они покатились под косогор — им в рот влетало солнце, осколками лимонного стекла кололо глаза — и они хватали ртом воздух, как выброшенная на берег форель, хохоча до слез.

— Ты что, совсем спятил, Дуг?

— Нет, нет, нет, нет!

Смежив веки, Дуглас видел пятнистых леопардов, беззвучно крадущихся во тьме.

— Том! — Потом вполголоса: — Том... кто-нибудь в мире... знает, догадывается о том, что он живет?

— Скажешь тоже! Конечно!

Леопарды бесшумно просеменили в более темные края, выходя из его поля зрения.

— Надеюсь, — прошептал Дуглас. — Очень надеюсь, что догадываются.

Дуглас открыл глаза. Над ним возвышался папа на фоне зеленого лиственного неба и смеялся, руки в боки. Их глаза встретились. Дуглас встрепенулся. «Папа знает, — подумал он. — Все так было задумано. Он привел нас сюда с умыслом, чтобы это со мной случилось! Он в этом замешан! Он в курсе всего этого. А теперь он знает, что и я знаю».

Из воздуха возникла рука и схватила его. Поставленный на ноги, вместе с Томом и папой, в синяках, потрепанный, озадаченный, исполненный благоговения, Дуглас бережно поддерживал свои странные локти и не без удовольствия облизывал рассеченную губу. Потом он взглянул на папу и Тома.

— Я сам понесу ведра, — сказал он. — Сегодня я все беру на себя.

Вопросительно улыбаясь, они вручили ему ведра.

Он стоял, слегка покачиваясь, крепко сжимая в своих отягощенных руках лес, собранный, полновесный и налитой соками. «Я хочу почувствовать все, что только можно, — думал он. — Пусть я устану, я хочу прочувствовать эту усталость. Я не должен забывать, что я — живу, я знаю, что я живу, мне нельзя этого забывать ни ночью, ни завтра, ни послезавтра».

Он шел с тяжелой ношей, чуть хмельной, а за

ним тянулись пчелы и ароматы винограда и солнечного лета. Его пальцы в восхитительных мозолях, руки гудят, ноги спотыкаются, и папа хватает его за плечо.

— Нет, — пробормотал Дуглас, — я в порядке, все нормально.

Лишь спустя полчаса улетучился дух трав, корней, камней и коры замшелого бревна, что отпечатались на его руках, ногах и спине. Пока Дуглас в раздумьях, пусть всё это ускользает, растворяется, выветривается. Брат и молчаливый папа шли за ним, чтобы он, как следопыт, сам прокладывал путь сквозь лес, навстречу невероятному шоссе, которое приведет их в город...

III[1]

Итак, спустя некоторое время мы в городе.

И вот очередной урожай.

Дедушка стоит на широком переднем крыльце, словно капитан, обозревающий бескрайнюю полосу недвижного летнего штиля, что прямо по курсу лежит. Он просил ветер, заповедное небо и лужайку, на которой стояли Дуглас и Том, чтобы вопросы задавали только ему.

— Деда, а они уже созрели?

Дед поскреб подбородок.

---

[1] Рассказ Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» («Dandelion Wine», «Gourmet», June 1953).

— Пять сотен, тысяча, две тысячи, как пить дать. Да, да, урожай что надо. Так что за дело, мальчики! Выбирайте всё подчистую! Десять центов за каждый мешок, доставленный на давильню!

— Ура!

Мальчики заулыбались, присели и принялись рвать золотистые цветы, которые наводнили весь мир, выплеснулись из лужаек на мощенные кирпичом мостовые, нежно постукивали в хрустальные оконца погребов и так распалились, что отовсюду ослепительно блистало расплавленное солнце.

— Каждый год, — сказал дедушка, — эти желтогривые буянят. Словно на дворе целый львиный прайд. Засмотришься на них, так еще, чего доброго, ожог сетчатки себе схлопочешь. Простецкий цветок, сорняк, на него и внимания никто не обращает. А мы чтим его благородие — одуванчик.

И вот бережно сорванные одуванчики мешками стаскивают вниз. От них во тьме погреба начиналось свечение. Холодная давильня стояла наготове. Лавина одуванчиков ее согрела. Дедушка крутил винт пресса, который плавно сжимал цветки.

— Вот... так...

Золотистая струя — эликсир ясного солнечного месяца — побежала, потом хлынула вниз по желобку в чан. Потом брожение останавливали и разливали в чистые бутылки из-под кетчупа, после чего расставляли их искрящимися рядами во мгле.

Вино из одуванчиков.

Слова имели привкус лета. Вино из одуванчиков — это уловленное и закупоренное в бутылки

лето. Теперь, когда Дуглас постиг, что живет и ходит по белу свету, чтобы все увидеть и потрогать, он обрел новое знание: каждый особенный день жизни необходимо запечатать, чтобы откупорить его в январский день, когда валит снег, а солнце неделями, месяцами напролет не выходит, и, может быть, какое-нибудь чудо, уже забытое, просится, чтобы его освежили в памяти. Раз уж этому лету суждено стать порой нежданных чудес, то пусть его целиком сохранят и наклеят этикетки, чтобы всякий раз, когда ему захочется, он смог бы, протянув руку, погрузиться в сырую тьму.

А там — ряды бутылей с одуванчиковым вином, ласковое сияние распустившихся спозаранку цветков, просвечивающие сквозь тончайшую поволоку пыли лучи июньского солнца. Присмотрись к ним в зимний день — и в проталине покажется травка, в кроны деревьев вернутся птицы, листва и цветы и будут колыхаться на ветру, словно континент бабочек. Присмотрись — и стальное небо засинеет.

Держи лето в ладони, налей лето в стакан, совсем крошечный, разумеется, ведь детям полагается малюсенький глоточек с горчинкой; пригуби лета из бокала — и в твоих жилах переменится время года.

— Готово! Теперь дождевая бочка!

Ничто в мире не заменит чистых вод, призванных из далеких озер и душистых полей травяной предрассветной росы, поднятых на небеса, пере-

несенных в отстиранных массах на девятьсот миль, потрепанных ветрами, наэлектризованных высоким напряжением, а затем конденсированных холодным воздухом. Эта вода, выпадая дождем, насытила свою кристальность небесами. Взяв что-то от восточного ветра, немного от западного, северного и южного, вода стала дождем, а дождю за этот час, что длилось сие священнодействие, суждено было стать вином.

Дуглас вооружился ковшом, чтобы глубоко зачерпнуть из бочки с дождевой водой.

— Готово!

Вода в чаше шелковистая, прозрачная, шелк с голубым отливом. Она смягчит губы, горло и сердце, если ее отведать. Эту воду должно ему доставить в погреб в ковше или ведерке и излить струями и горными потоками на урожай одуванчиков.

Когда бесновалась вьюга, ослепляя мир, залепляя бельмами снега окна и похищая пар дыхания из разинутых ртов, в один из таких февральских дней даже бабушка исчезала в погребе.

Наверху, в большущем доме, кашляли и чихали, хрипели и стонали, дети температурили, глотки становились красными, как говядина от мясника, а носы — цвета вишневой настойки; микробы, крадучись, лезли во все дыры.

Но вот, восходя из погреба, словно божество Июня, возникала бабушка, явно что-то припрятав под вязаной шалью. Это благоухающее прозрачное нечто разносилось вверх-вниз, по всем комнатам, где царило страдание, и разливалось по ста-

канам, которые полагалось опрокинуть залпом. Снадобье давешней поры, бальзам солнца и праздных августовских денечков, еле слышных фургонов со льдом на кирпичных мостовых, взмывающих серебристых фейерверков и фонтанирующих газонокосилок, ворошащих муравьиные угодья... и это все-все — в одном стакане!

Да, именно так, даже бабушка, влекомая в погреб Зимы за Июньскими приключениями, способна была молча уединиться в тайном сговоре с душой и духом, равно как и Дедушка, Папа и дядюшка Берт, и любой постоялец, общаясь с канувшим в небытие календарем жизни, с пикниками и теплыми дождиками, ароматами пшеничных полей, свежей воздушной кукурузы и полегшего сена. Даже Бабушка проговаривала заветные золотистые словеса — причем в тот самый миг, когда цветки высыпали под пресс, и их будут твердить каждую божию белую зиму, из зимы в зиму, до скончания века. Улыбаются губы, которые молвят эти слова, как будто во тьме неожиданно солнечный луч проблеснул.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

* * *

Подступают бесшумно. Убегают беззвучно. Травы жмутся к земле и распрямляются вновь. Промчались, словно тень облаков с косогора... они — мальчишки летней поры.